

БЕДНАЯ ЛИЗА

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра*: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбацких лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших

стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению деревьев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек,

свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженьях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая ру-

ка наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, — которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. — «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца

твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, переkreщусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и покраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. — «Продаю», — отвечала она. — «А что тебе надобно?» — «Пять копеек». — «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». — Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — еще более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. — «Для чего же?» — «Мне не надобно лишнего». — «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». — Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. — «Куда же ты пойдешь, девушка?» — «Домой». — «А где дом твой?» — Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» — «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» — «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». — У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. — На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. — «Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела». — «Кого?» — «Того господина, который купил у меня цветы».

Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч., и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были — нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. — «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». — Тут в глазах Лизиных

блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. — Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» — спросила старуха. — «Меня зовут Эростом», — отвечал он. — «Эростом, — сказала тихонько Лиза, — Эростом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. — Эрост простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами...» — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эрост, был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы,

идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром,

и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. — Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и — мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку...* А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не могла отнять у него руки — не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся все-

ленная показалась ей в огне горящую! «Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! — сказала она. — Всегда ли ты будешь любить меня?» — «Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он. — «И ты можешь мне дать в этом клятву?» — «Могу, любезная Лиза, могу!» — «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» — «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» — «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» — «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать». — «Для чего же?» — «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». — «Нельзя статься». — «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». — «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». — Они простились, поцеловались в последний раз

и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» — Старушка, подпираясь клюкою, вышла на дуг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! — говорила она. — Как все хорошо у господа бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно,

так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались — но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: «Люблю тебя, друг мой!», когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме — Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». — Эраст восхищался своей пастуш-

кой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» — Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». — Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» — Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» — «Ах, Эраст! Я плакала!» — «О чем? Что такое?» — «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». — «И ты соглашаешься?» — «Жестокый! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» — Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. — «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — сказала Лиза с тихим вздохом. — «Почему же?» — «Я крестьянка». — «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! — Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась —

мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная отчего — не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» — Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! — сказала она. — Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. — Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» — «Будем, Лиза, будем!» — отвечал он. — «Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее любви исполненными взорами —

одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, — а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспляял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» — Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». — Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». — «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». — «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!» — «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». — «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». — Старушка осыпала его благословениями. «Дай господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» — Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и наконец скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» — Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. — С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» — от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское ут-

ро после бурной ночи. — Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ее великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и повернула на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя — в Лизиных объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой». — Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был

в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастливая открыла глаза — встала с помощью сей доброй женщины, — благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» — Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую

задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, — к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — бог будет ее помощником, — поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, — скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там*, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. — Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша

по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. — Теперь, может быть, они уже примирились!

НАТАЛЬЯ, БОЯРСКАЯ ДОЧЬ

Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними *bonnets à la...*¹ и всеми галло-албионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмого-надесять века. Таким образом (конечно, понят-

¹ *Bonnets à la* (франц.) — чепчиками в виде...

ным для всех читателей), старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан, и если угрюмая Парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то наконец не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN. Только страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня ключою своею за худое риторство... Ах нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень, — ты неудобна к такому делу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоём: итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неопisanного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неб, — возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет! Ты позволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их

на мягкие диваны и погружать в глубокий сон... Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском и, наконец, — о чудо! — являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества! Очи твои сияют, как солнца; уста твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор при восходе дневного светила, — ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось, и в восторге слышу я *сладко-гремящие* слова твои: «Продолжай, любезный мой праправнук!» Так, я буду продолжать, буду; и, вооружась пером, мужественно начертаю историю *Натальи, боярской дочери*. Но прежде должно мне отдохнуть; восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо — и сии написанные строки да будут вступлением, или предисловием.

В престольном граде славного русского царства, в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостью. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призы-

вал к себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но) по моей совести; сей виноват по моей совести» — и совесть его была всегда согласна с правдою и с совестью царскою. Дело решалось без замедления: правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина, а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков.

Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве, а именно, в каждый двенадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертьями накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных¹ людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском; потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ними. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушанья, как белое топкое облако, вился над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги

¹ В истине сего уверял меня не один старый человек. (Примеч. автора.)

и, наконец, веселился с ними, как с друзьями. Так в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством — смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Добрый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твоё здоровье! Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть.

Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи — но доброму ли бояться сего густого непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным — хотя темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в оную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина; но венцом его счастья и радостей была любезная Наталья, единственная дочь

его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской — в юной Наталье увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское искони почиталось жилищем красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега: он все еще не вообразит белизны лица ее — и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиитических уподоблений красоты и не один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерьми. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал принадлежности

красоты телесной), а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту душевную). По крайней мере, наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц: одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля» — во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, — не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы, но сия судьба была к ним милостива и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней.

Один великий психолог, которого имени я, право, не упомяну, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере, я так думаю и с дозволения моих любезных читателей опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, надевала на себя тонкое

шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными темно-русскими волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой природы, — взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной гласом утра, в веянии ветерка стряхивала с себя блестящую росу, — взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как сизый, кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны являлись Натальину взору сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои, — поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить природы, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!» Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновиде-

ниями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем, солнечные лучи играли на белом ее лице и, проникая сквозь черные, пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди, но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама! — говорила Наталья. — Скоро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою водой, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужною повязкою. Таким образом снарядившись, дожидались они благовеста и, заперев замком светлицу (чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек), отправлялись к обедне. «*Всякий день?*» — спросит читатель. Конечно, — таков был в старину обычай — и разве зимою одна жестокая выюга, а летом проливной дождь с грозой могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности? Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась богу с усердием и между тем исподлобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клобов, ни маскараров, куда ныне ездят себя казать и других смотреть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей?

После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю, с нежною любовию поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пальцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением. Читатель! Знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни, по крайней мере, как любовались глаза твои пестрою гвоздичкою или беленьким ясином, тобою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты их краски и тени и сколь радовался мыслию: «Это — мой цветок; я посадил его и вырастил!», вспомни и знай, что отцу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать: «Она — моя!» После русского сытного обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются *Красные ворота* с трубящею Славою. Наталья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела и покойна и принималась снова за рукоделье. Наступал вечер — новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юные подруги приходили делить с нею часы прохлады и разговаривать

о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц; он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских. Зимой, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы, играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась покойным сном, которым всегда юная невинность наслаждается.

Так жила боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ее наступила; травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жаворонки запели — и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами — сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрог-

нуло — как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим! Она вздохнула — вздохнула в другой и в третий раз — посмотрела вокруг себя — увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке), — опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, — потом и в левом — и обе выкатились — одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подгорюнилась — чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе своей; все казалось ей не так, все неловко; она встала и опять села; наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует. Старушка начала крестить милую свою барышню и с некоторыми *набожными оговорками*¹ бранить того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее происходит ни от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты и долго жила на свете, однако ж многого не знала; не знала, что и как в некоторые

¹ Например, «Прости господи» и прочее тому подобное, что можно еще слышать и от нынешних нянюшек. (*Примеч. автора.*)

лета начинается у нежных дочерей боярских; не знала... Но, может быть, и читатели (если до сей минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают), — может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашею героинею, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам между зланных, цветущих бережков; что ж сделалось с нею? Скромная Муза, поведай!.. — С небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальино нежное сердце — *потребность любить, любить, любить!!!* Вот вся загадка; вот причина красавицыной грусти — и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятною, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему осьминадцатилетней девушки.

С сего времени Наталья во многом переменилась — стала не так жива, не так резва — иногда задумывалась, — и хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества, — берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Кра-

савица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых, смешанных, темных чувствах. Воображение представляло ей чудеса. Например, часто казалось ей (не только во сне, но даже и наяву), что перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельскою улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая рука удерживала ее за одежду, и неизвестный голос говорил ей: «Стой в притворе храма; никто без милого друга не входит в его внутренность». Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась. Так, красавицы! ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзовами уединенной скуки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца! Нет, красавицы,

нет! Сердце ваше желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство, нежное, страстное, пламенное, — а где найти его, где? Конечно, не в Дафне, конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, — горевать и крушиться, желая и не находя того, чего вы сами ищете и не находите в холодной дружбе, но что найдете — или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным, тяжелым сном, — найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша с светло-голубыми или черными глазами и в печальных песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный читатель! Прости мне сие отступление! Не один Стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести.

Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее: родительское сердце его потревожилось. Он расспрашивал ее с нежною заботливостию о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его неможет, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте Муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями, нежели с людьми русскими, и прослыла если не чародейкою, то, по крайней мере, велемудрою старушкою, искусною в лечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки Натальиной болезни

и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здоровье, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности; впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.

Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и, между тем как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство, то есть зима наступила, и Наталья по своему обыкновению пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она не нарочно обратила глаза свои к левому крылосу — и что же увидела? Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золотыми пуговицами, стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий пронизательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся покраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!..» Она потупила глаза свои, но ненадолго; снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека, — и потому она смотрела на него как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришедшей в себя

после многих несвязных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак, — думала Наталья, — итак, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек — такой прелестный юноша?.. Какой рост! Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у него, как молния; я, робкая, боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально — даже и тогда, когда молится. Конечно, и я знакома ему; может быть, и он, подобно мне, грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня, — хоть темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей».

Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинается то, чего они долго не называют именем и что Наталья в сии минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и десять раз говорила ей: «Пойдем, барышня; все кончилось». Но барышня все еще не трогалась с места, для того, что и прекрасный незнакомец стоял как вкопанный подле левого крылоса; они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того нейдет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами: тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запираить, пошла к дверям, а за нею молодой человек — она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок

и должна была ворочаться назад; незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал брововой шапки своей, хотя на дворе было холодно.

Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела, подобно такому человеку, который наконец узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюбленных, — ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту? — скажет читатель. — Увидев в первый раз и не слышав от него ни слова?» Милостивые государи! Я рассказываю, как происходило самое дело, не сомневайтесь в истине; не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные! А кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру!

Когда боярин Матвей после обеда заснул (не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке), — Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала —

взглянула на окончины, расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков оказался ей молодой человек, бывший у обедни? Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежало изъясниться, но легко ли это для стыдливой девушки? «Я говорю о том, — продолжала Наталья, — о том, который — который был всех лучше». Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ними. «Я не заметила его», — холодно отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не заметить.

На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вышла всех позже из церкви, но красавица в голубом кафтане там не было — на третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и насилу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий, — думала она, — жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру — и ты не выронишь ни слезки на гробе злосчастной!» Ах! Для чего самая нежнейшая, самая пламенная из страстей рождается всегда с горестию, ибо какой влюбленный не вздыха-

ет, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно?

На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек — не он! Вошел другой — не он! Третий, четвертый — все не он! Вошел пятый, и все жилки затрепетали в Наталье — это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся! От сильного внутреннего волнения она едва не упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего; он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью (которая от нежных чувств стала еще прелестнее) и вздыхал так неосторожно, что она заметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы, любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь подымала руку ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одною блаженною секундою. Все стали выходить из церкви; она вышла после всех,